



*Владимир РЫБИН*

**УЙТИ,  
ЧТОБЫ ВЕРНУТЬСЯ**

РАССКАЗ

Художник Валерий СМИРНОВ

Лия хотела, чтобы Герман ради нее совершал подвиги. А он совершил преступление. Однажды, не выдержав упреков, которые разрывали ему сердце, он проник на полигоне в подготовленный к старту хронолет и ушел в космос. И тьма безвременья поглотила его.

Он мог бы сказать, что знает хронолет до последнего винтика. Если бы в аппарате был хоть один винтик. Его и аппаратом можно было назвать лишь условно, это был скорее особого рода кристалл. Через час после старта он как бы растворялся в вакууме, превращаясь даже не в излучение, а в нечто подобное кванту — существующее и в то же время несуществующее, способное возникать в любой точке пространства, а стало быть, и времени. Впрочем, не в любой. Свойство луча сохранялось, и он имел только одно направление — заданное. Человек ничуть не страдал от этих превращений, он продолжал ощущать себя и мыслить.

Так говорила теория, которую Герман, один из создателей хронолета, сам и разрабатывал. Правда, никто еще личным опытом не подтвердил правильность теории — экспериментальный полет только готовился, и только подбирались кандидатура первого испытателя.

Теперь Герман располагал бездной времени, чтобы все вспомнить, хорошенько подумать обо всем. Хотя можно ли назвать временем то, в чем он был? Время — это когда существуют последовательные связи, — второе идет за первым, третье за вторым. Он же в своем новом бытии мог сколько угодно менять местами будущее, прошлое, настоящее, мог и вовсе остановить время, наслаждаясь понравившейся минутой. Ему не приходилось, как ученым древности, задаваться вопросом: может быть, неутомимая необратимость времени всего лишь недуг мироздания? Не приходилось, подобно тем же древним людям, бодрить себя обманчивой уверенностью: мы покоряем пространство и время. Времени в земном представлении для него не существовало вовсе.

Герман видел себя полусидящим-полулежащим в глубоком кресле, похожем на облако — так ему нравилось, — и размышлял над тем, что же он такого натворил.

С чего все началось? Конечно, была ревность, — странное чувство, внезапно выскочившее из рудиментарной наследственности, удивившее и вконец измучившее его. А она, Лия, как чуткий барометр, мгновенно улавливала смуту в душе Германа и делала все, чтобы эта смута не угасала. Похоже, ей нравилось, что он ревновал, сердился по пустякам, говорил и делал глупости. Как-то он накричал на нее, хотел даже ударить — такая ярость вдруг вспыхнула в нем. Потом бы каялся, целовал ей руки и просил прощения. Потому и сдержался, что сумел представить себе последствия. А она, даже зажмурившись в ожидании удара, очень рассердилась и расплакалась от обиды. И ему все равно пришлось просить прощения неизвестно за что. Просто невыносимо было видеть, как она плачет.

У других любовь тихая и радостная. У него — сплошная мука. Но без этой муки он не мог жить — она была, как наркотик, все более желанной.

В новом бытии вокруг него ничего не было — ни тьмы, ни света, ни тепла, ни холода. Только иногда близость особенно крупных звездных масс давала о себе знать всплесками непонятного беспокойства. Сквозь звезды он проходил с легкостью нейтрино. Проходил даже сквозь черные дыры, ощущая их как внезапные приливы неизъяснимой тоски. Но тоска теперь была его постоянной спутницей, следствием то ли непомерной гравитации, то ли воспоминаний о навсегда покинутой родине, о своей мучительнице Лие. Впрочем, теперь даже самые несносные ее капризы казались Герману чем-то вроде легкого кокетства, простибельного для женщины.

— Ты меня любишь?

— Люблю.

— Разве так говорят любимой о любви?!

— А как говорят?

— Вот ты уже раздражаешься.

— Ничего я не раздражаюсь.

— Нет, раздражаешься. Значит, не любишь. Любящий все терпит, что угодно для любимой сделает. Звезду с неба достанет. Совершит такое, что все ахнут.

— Ну а любимая? Тоже ахнет?

— Ты злой. И меня совсем не любишь. Теперь-то я вижу.

— Не говори глупости...

Эхо былого захлестывало его жалостью к Лие, и он, будто наяву, обнимал и утешал ее, всхлипывающую, льнущую к нему, жаждущую его ласк. А когда оно отпускало его, Герман мучил себя вопросом: любит ли она? Любовь — в самоотдаче, самоогречении. В эгоистичной требовательности — уродство любви, демонический выверт. Но легче не становилось. Даже еще и тяжелее было, поскольку свое-то чувство не угасало от таких выводов.

В прошлом году в июньскую светлую пору, когда только бы радоваться, случилась особенно тягостная сцена. И был у него момент отчаяния. Тогда-то и появился к нему «дьявол», как назвал его про себя Герман. Будто Мефистофель к Фаусту. На Мефистофеля, каким изображают его книжные иллюстрации, он совсем не походил. Скорее выглядел обыкновенным молодым научным сотрудником — в серой рубашке с застегнутым воротником, в сером интернациональном пиджачке. Отличало его только одно — серебристая полоска на лбу, будто ремешок, подвязывающий волосы. И предложил пришелец все тайны мира в обмен на отречение от Родины, от друзей, от Лии, от всего настоящего. Он говорил:

«Боги рождаются не где-то там, в небесных эмпиреях, а здесь, на Земле. Каждый ребенок — ангел, перед каждым человеком открыты дороги к откровениям. Свобода выбора дается человеку с самого начала — запутаться в житейских зарослях и обломать неокрепшие крылья, упереться в тупик мелочного благополучия и утешиться самообманом, утонуть в страстях телесного... Или же проломиться через невзгоды к божественным пределам. Вы меня, конечно, понимаете?..»

Герман понимал. Что это было: розыгрыш, бред сумасшедшего, религиозный фанатизм, воскресший невесть из каких забытых

глубин? Но давным-давно натренированная интуиция отметала сомнения.

— ...Земля не просто прародина человечества, она вроде как инкубатор «богов», школа «богов». Всякому окончившему эту школу достойно открывается путь к сокровенным тайнам мироздания. Такой человек исчезает здесь, чтобы возродиться там и творить благое в иных мирах. Сейчас это предлагается вам.

— Почему мне? — спокойно, даже не удивившись, спросил тогда Герман. — Я человек тихий, за всю свою жизнь мухи не обидел.

— Именно поэтому.

— Я не сделал ничего такого. Ни атомной, ни гравитационной бомбы не изобрел.

— Именно поэтому, — скучным голосом сказал человек и посмотрел в окно, где, застилая полнеба, белел покрытый пухом тополь.

Взгляд собеседника был со значением. Герман понял и побледнел. Это же сколько надо семян, сколько рождений, чтобы противостоять смерти?!

— Вы хотите сказать...

— Да, — жестко перебил его человек. — Природа кажется расточительной. Но она мудра. Все живое должно иметь бесконечно много возможностей, чтобы хоть одна из них реализовалась.

— Страшно, — сказал Герман. — За людей страшно. Я понимаю, — заторопился он. — Человек — часть природы. Но он все-таки человек. Такие жертвы во имя одной реализации? Разумно ли?..

— Человеку дано то, чего не дано никому и ничему в природе. Свобода самосотворения. У каждого есть талант, не тот, так другой, и от самого человека зависит — выпестовать его или погубить, обратить во благо или во вред...

— А сколько талантов погибло из-за чужой злой воли!..

— Злая воля — тоже результат самосотворения. И все-таки во все времена люди верили: каждый человек кузнец своего счастья...

Серый человек снова посмотрел в окно. И вдруг исчез. Так-таки взял и исчез, этим окончательно убедив Германа в нешуточности происходящего.

Герман доискивался причин, из-за которых прежде не слышал о звездных судьбах избранных. Что будет, если отказаться?.. Он сам уже знал ответы: отказавшийся воспринимает предложение как сон, как что-то нереальное, несерьезное, а согласившийся исчезает, и о нем скоро забывают, как о человеке, не заслуживающем долгой памяти. И знал Герман, что уговаривать его никто не будет. Он сам должен определить свою судьбу.

Герман долго мучился в нерешительности. Иногда ему казалось, что он мог бы забыть Лию. Но невыносима была мысль, что она забудет его. Тогда охватывало нетерпеливое желание прикоснуться к неведомому, желание, какое ведет людей по пути познания. А то вдруг слезами захлестывала печаль — вдруг он исчезнет навсегда и больше не увидит ни этого неба, ни белых туч в синеве, ни травы, ни цветов. Убеждал себя, вспо-

миная примеры, когда люди отдавали жизнь за один взгляд, — этакая страшная дань за удовлетворенное любопытство. Известно: некто согласился умереть в обмен на право увидеть золото инков. Такое уж было правило у инков: чужестранец, проникший в сокровищницу, должен был умереть.

А Герману обещают вечную жизнь, и он колеблется.

Герман бродил тогда по окрестным лесам и страдал в одиночестве. Обнимал жесткие кусты ольхи, судорожно вдыхая пряный запах листьев, прижимался щекой к холодным березкам, гладил осины, тер их до зелени на стволах, словно хотел оставить в этом мире хоть какой зримый след. Как ни утешал себя думами о вечности, все равно оставалось ощущение, какое, как ему казалось, бывает только перед смертью.

Силы земные, силы небесные! Что вы делаете с человеком, порожденным вами и брошенным в жестокое море испытаний! Почему считаете, что он во всем подобен вам?! Слаб человек в одиночестве, очень слаб. Потому и цепляются люди друг за друга, жалеют друг друга и в жалости лелеют утешительные свои слабости, и часто в них, только в служении им видят свое предназначение. Так почему бы не помочь им, не указать пути возвышения?!

Указано. Все указано каждому. Винават ли Космос, что человек так часто не видит в себе Бога?!

В те дни не покидало его олицетворенное в глубокой древности обобщающее понятие — Бог. Знал, не он первый, его ощущали в себе многие. Писатель Флобер, например предполагал, что Бог посредством человека открывает свою сущность. Лев Толстой писал, что временами он чувствовал себя проводником воли божьей. Бетховен говорил, что в минуты музыкальных озарений творил не он, а сам Бог. Многие, очень многие принимали свое божественное за наитие свыше. Не замечали, что в минуты творческих озарений в человеке, в самом человеке пробуждается то высшее, что изначально заложено в нем.

Кем заложено? Как сопрягается это изначально со свободой воли, данной человеку?

И все вспоминался Герману покрытый пухом тополь, как образ мудрой расточительницы-Природы.

«Нет, Космос не запрограммированный механизм. Первородный взрыв, разбегание материи, перевоплощающейся на бегу, разложение в энтропийной яме или, наоборот, сбегание к первоатому, к мучительному ожиданию нового взрыва, нового начала? Нет и нет! Космос творит, постоянно созидает все более сложные формы и системы, способные противостоять энтропии, жить, развиваться, совершенствоваться и множиться в совершенстве своем. Он создал и жизнь, как наиболее устойчивую форму сущего, способную возрождаться вновь и вновь. Прежде чем откупиться от энтропии данью смерти, прежде чем исчезнуть, жизнь передает эстафету новой жизни, каждый раз добавляя свое, лучшее. Он, Космос, создал и разум, удивительную способность жизни к самопознанию, самоутверждению или самоосуждению. Разум — это глаза жизни. Чтобы видеть дорогу, а не искать возрождения вслепую, как это приходится делать тополю, заранее знать, на каких путях искать совершенства, То-

полю даны миллионы семян. Человеку дана свобода воли и творчества. Чтобы всепроникающим зондом разума опробовать миллионы дорог. Одна дорога может оказаться тупиком. Во множестве возможностей всегда есть хоть одна нетупиковая...»

Ясно, будто вчерашнее, видел Герман прошедшее. И только в будущем не видел ничего. Была мгла впереди, похожая на земную предрассветную, и в этой мгле просвечивало что-то непонятное. Да и что могло быть понятного для человека без будущего? Он сам выбрал себе такую судьбу — вечную устремленность вперед в беспространственном и безвременном мире. И жизнь в воспоминаниях, только в них.

«А может, не сам, может, подтолкнули? Тот серый человек, предлагавший вечность?»

Новая эта мысль рассердила его. Как же так? При свободе воли?!

И тут он заметил, что светлое пятно, маячившее впереди, потемнело и в нем все яснее начал проступать силуэт человека. Герман узнал его по серебристой полоске на лбу, но не удивился, не обрадовался. Много теней прошлого проходило перед ним, и он решил, что серый человек — тоже тень, воспоминание.

Они сидели друг против друга и молчали. У Германа не возникало никаких отголосков чужой мысли. И вдруг, как луч во тьме: «Мой поступок, мое бегство на хронолете они сочли за жест согласия?»

На миг пришло утешение. Он корил себя, а оказывается, можно оправдать этот шаг стремлением к вечности и благу. Тут же поправился: «Нет ни вечного, ни благого на путях неправедных».

Не выдержал, спросил:

— Вы снова зовете меня?

— Мы никого не зовем. Человек волен все решать сам, — четко произнес серый пришелец.

— Человека иногда нужно и позвать, чтобы он решился.

— Зов ли, уговор ли, принуждение ли, — любое воздействие на свободу выбора, — все несвобода. А разве может быть множество возможностей при несвободе?

— Выбор основывается на знании.

Пришелец молчал. И Герман ответил сам себе: «В тебе говорит индивидуализм — первобытная форма защиты если не себя лично, то хотя бы своего, себе подобного. Разве не может быть добра просто во имя добра, совершенства во имя совершенства? Вся человеческая мораль — на отрицании самости. А ты... Тебе предлагается творить добро, а ты сразу: зачем да почему? Надо просто сеять добро. Разве важно, кто соберет плоды?»

«Как же не важно!» — возразил он сам себе. Но, кроме этой общей фразы, никакого аргумента больше не находилось.

А пришелец сидел все так же неподвижно, и на лице его был виден явный интерес к смятенным мыслям Германа.

И вдруг он пропал, а на облачном пуховике все отчетливее стало обозначаться до боли знакомое, родное — Лия! В воспоминаниях он не раз видел ее возле себя, выслушивал бесконечные упреки, повторял оправдания, хорошо помнившиеся и забытые. Всегда он видел свою Лию одинаковой — страстной, любящей, нетерпеливой, капризной. Сейчас же она молчала, гляде-

ла мимо него, отвечала холодно, отстраненно. А он, будто впервые, говорил и говорил, рассказывал подробно о том, как, не зная куда деваться после того скандала, оказался на полигоне и вошел в хронолет, как мучился раскаянием в одиночестве и звал ее, никогда не молчавшую, вызывавшую в нем какие угодно душевные состояния, кроме равнодушия.

Лия не отвечала. И там, на Земле, бывало иногда, что она умолкала надолго, изводя его молчанием не меньше, чем упреками. Но сейчас в бесстрастии Вселенной ему не хватало ее взрывных эмоций.

— Я же тебя люблю. Как прежде. Скажи что-нибудь. Что ты молчишь?

— Чего? — наконец выговорила она.

— Чего-чего. Есть у тебя другие слова?

— Есть, — как эхо, повторила она.

— Я не могу вернуться, я для тебя все равно что умер. Но знай, я очень любил и люблю тебя. Я ошибся, думал, что можно убежать, улететь от самого себя. Значит, все дело было во мне.

— Так.

— Не в тебе, а во мне самом. Я ушибен. Не понимаю, почему эти вечные выбрали меня?

— Не понимаю.

— Да что с тобой? Ты что, говорить разучилась?

— Ну и что?

— Как это что? Может, ты заболела?

До него вдруг дошла нелепость рассказов-расспросов. Перед ним всего лишь тень, тень былого... Он возразил сам себе: нет, не тень, Лия бывала всякой, но такой — никогда... А в будущем?.. Но какое может быть будущее у него? Или все-таки может быть?.. Или же это новый образ, сотворенный из отрицательных качеств той, земной Лии?.. Кем сотворенный? Зачем?..

Образ Лии, сидевшей перед ним, странно и страшно начал преобразовываться в серого пришельца. Какое-то время Герман молчал, ошеломленный.

— Ну и шуточки у вас.

— Это не шутка. Я попытался показать вас двоих как бы со стороны. Вы ведь не понимаете и никогда не поймете друг друга.

— Не пойдем? Как же добиться взаимопонимания в иных мирах, если мы, люди одного мира, не пойдем друг друга? Знаете ли вы, что люди иногда умеют понимать... сердцем?

Ему казалось, что он здорово поддел пришельца. Тот долго молчал, не мигая смотрел на Германа, и облик его все более светлел, таял.

— А что значат ваши слова «никогда не поймете»? — спросил Герман. — Разве для меня существует возможность возвращения?

— Узнаете, узнаете, узнаете... — Голос слабел, полупрозрачный силуэт все больше растворялся, пока не исчез совсем.

Что-то переменялось в окружающей Германа сумрачной пустоте. Света, что ли, прибавилось? Или, наоборот, тьмы? Или про-

бились сквозь туман радужные отблески? А может, это в нем самом что-то изменилось после неожиданной оговорки прищельца. Оговорки ли? Теперь Герману казалось, что прищельец знает нечто чрезвычайно важное и специально намеркнул на это. Но зачем? Чтобы заронить надежду? Нет, скорее затем, чтобы увидеть, как Герман отнесется к сообщению, и понять, готов ли он уйти в вечность.

Бледный свет внезапно начал разгораться. И вдруг ослепительно вспыхнул. И что-то громоподобное обрушилось на Германа.

Больше ничего он не видел и не слышал...

Теплая капля упала ему на щеку, сползла к краю губ. Герман слизнул каплю. Она была соленая.

— Очнулся?! — услышал он радостный возглас. — Я знала, что ты очнешься. Я тебя всегда знала. Открывая глаза-то, нечего притворяться.

— Лия?!

— Хотел сбежать от меня? Не выйдет, дружочек ты мой. Видишь, сама Вселенная против.

Она улыбалась, а из глаз все капали ему на лицо слезы. И были они сейчас слаще меда. Герман с трудом поднял руки, потянулся к ней. Лия резко отпрянула, ее золотистые волосы полыхнули в лучах солнца, бьющего в окно.

— Нет, милый, сначала ты мне все расскажешь.

Он улыбнулся:

— Я тебе сто раз рассказывал.

— Не знаю, кому ты там рассказывал...

Синие глаза ее блеснули предвестием обиды. Герман привстал. Что-то было не так во всем этом. Цвет? Да, цвет, настоящий, земной, какого давно не видел.

— Что случилось?!

— Это я тебя спрашиваю: что случилось? Как ты мог...

— Я на Земле?

— Ты на кровати. На больничной кровати. Все удивляются, как ты жив-то остался.

Он бессильно упал на подушку.

— Бога ради, объясни, что со мной?

— Поглядите на него! — Лия всплеснула руками, огляделась, словно искала кого-то глазами, хотя в комнате никого не было. — Ты спроси, что со мной?! Я чуть не умерла тут без тебя. Потом чуть не умерла, когда увидела эту вспышку в небе, хоть и не знала, что это ты возвращаешься. Но чувствовала, чувствовала. Потом чуть не умерла, когда отменили все передачи и показали, как тебя вытаскивают из этого угля, из этого черного камня — хронолета. Уж точно чуть не умерла в который раз...

В комнату кто-то вошел, и Лия умолкла. Герман скосил глаза, увидел необыкновенно красивое смуглое лицо мулатки. Женщина улыбалась радостно, от ее улыбки невозможно было отвести взгляда.

— Как мы себя чувствуем? — спросила женщина.



— Хорошо, хорошо, — забеспокоилась Лия. — Раз я здесь, значит, все хорошо.

Женщина не обратила на Лию никакого внимания, будто ее и не было, подошла, положила на голову Германа теплую мягкую ладонь, как-то слишком пронзительно, колдовски заглянула в глаза.

— Мы вас все любим, вы должны это помнить.

— Почему?.. — Он вдруг увидел большие гневные глаза Лии и спросил другое: — Что со мной?

— Теперь все хорошо.

— Теперь? Что же было?

— Всякое. — Снова ослепительная улыбка, сочувственная, ободряющая. — Много людей отдавали вам свои силы.

— Было так серьезно?

— Вы же из небытия.

— И вы... отдавали? — спросил он, хотя можно было не спрашивать. С ее руки, лежавшей на голове, и теперь стекало нечто успокаивающее, бодрящее.

— И я тоже! — с вызовом сказала Лия. — Я знала, что он придет в себя.

— Ну, этого ни один врач не знал.

— А я знала!

— Хорошо, хорошо.

Женщина отняла руку и пошла к двери. Ему хотелось позвать женщину — такое блаженство разливалось по всему телу от ее руки, — но снова поймал встревоженно-гневный взгляд Лии и промолчал.

— Скоро вы встанете на ноги, — сказала женщина, задержавшись в дверях. — А то вас заждались.

— Кто заждался?

— Все. Вы же теперь знаменитость.

Она вышла, и Лия разразилась длинной тирадой по адресу всяких там красоток, которые, если их не отвадить, слишком далеко заходят. А Герман успокоенно думал о том, что все счастливо окончилось, наверное, не без участия извне. Хронолет, как время, мог перемещаться только в одном направлении, и вернуть его способна была лишь одна сила, та, которой обладал таинственный серый человек — посланец никому не ведомых вечных. Но чем он заслужил такое сочувствие к себе, носителю крохотной частицы разума, одной из мириад во Вселенной? Чем он так уж выделился, что ради него серый человек, пусть на миг, но все же разбил извечные оковы космических законов? Это было непонятно, неестественно и требовало других объяснений, совсем других...

— ...Магелланчик ты мой!..

— Ты что-то сказала? — спросил Герман, уловив в бурной речи Лии непонятное слово.

— Сказала?! Я ему битый час говорю, а он, оказывается, не слушает! Узнаю своего Германа. Всю Вселенную объехать — и ничуть не измениться...

— Ты вроде бы тоже не изменилась.

— Я была тут, а ты... на краю света.

— Ну, положим... Края света-то ведь не существует.

Она потрогала лоб, нарочно или случайно повторив жест необыкновенной женщины-врача, после которой что-то звенело в нем радостно, не умолкало.

— Ты что, с неба свалился?! — И засмеялась. — Конечно, с неба, откуда еще! Вселенную облетел, а ничего не понял. Ты в самом деле ничего не понял или притворяешься?

— Что я должен понять?

— Ты же всю Вселенную облетел!

— Заладила. Объясни толком?

— Ты же новый Магеллан.

— Кто?

— Ну, Магеллан. Ты же знаешь, путешественник такой был. Землю вокруг объехал. Все время плыл на корабле в одну сторону, а вернулся с другой стороны.

— Ну и что?

— Как что?! Меня все поздравляют: твой-то ради тебя что совершил! Герой!

— Я герой?!

— Ты, кто же еще? — Неожиданно она поцеловала его в щеку возле самых губ, и догадка, что билась в нем новым открытием, улетучилась.

— Постой, дай сообразить. Я же... А меня героем? Кто называет?

— Да все же. Все видеоканалы тобой заполнены. Люди везде только о тебе и говорят. Вот поправишься, узнаешь. Ученый мир голову потерял — такое открытие.

— Какое открытие?

— Да я же тебе толкую: повторил подвиг Магеллана. Тот Землю вокруг объехал, а ты — Вселенную.

Герман резко, будто его подтолкнули, сел на кровати. Смутная догадка вдруг высветилась вся сразу, оглушила. От того ли, что сделал резкое движение, или от этого внезапного прояснения головная боль, отпустившая после прикосновения рук кудесницы-врача, вновь усилилась. Он помассировал лоб, стягивая пальцами кожу от висков к переносице, сказал медленно, выхватывая странно разбегающиеся слова:

— Погоди... Ты говоришь, будто уже выяснено, что я, все время... перемещаясь в Космосе... по прямой, оказался в той же точке пространства?

— Да не будто, не будто! Ты чуть ли не месяц находился в беспмятстве. Все это время весь ученый мир только тем и занят, что исследует феномен Германа. Так теперь говорят.

Она тихо, счастливо засмеялась.

— Но ведь это значит...

— Да, да, ты экспериментально доказал, что Вселенная замкнута. Именно так и говорят.

— Они ошибаются.

Герман подумал о сером пришельце. Если рассказать о нем, о неведомых существах с их неведомо громадными возможностями...

— Ха, ошибаются. Уже опыт повторили. Так же отправили другой хронолет, без пассажира, правда, и он вернулся. Из другой точки пространства возник. За неделю обернулся.

— Всего за неделю?!

— В точности, как и ты.

— Мне казалось: вечность прошла.

— Вечность! Я за неделю-то чуть не умерла. Если бы не знала, что ты вернешься...

— Как это — знала?

— А так вот. Знала, и все. Ты мне не веришь?!

— Верю, верю, — поспешил он согласиться, вспомнив, какими капризами кончались высказанные им сомнения в ее сверхъестественных способностях.

И тут же забыл о Лие, глубоко задумавшись.

«Великое таинство интуиции, не сродни ли ты великому таинству космической пустоты, вакуума? — думал он. — Человек ведь не чудо природы, а ее средоточие. Свет существовал до зрения, звук до слуха, температурные и прочие контрасты — до осязания. Неужели же тайна вакуума не отразилась в человеке?! Еще нет звезд, а Великая Пустота томится преддровыми схватками. Не так ли и ты, неосязаемая, незримая интуиция? Еще ничего не случилось, а тебе больно, ничего нет, а ты уже знаешь...»

Лия что-то говорила ему, а он ничего не слышал, оглушенный открытием. Вселенная замкнута! Пространство и время — в одном клубке. Теоретически не ново. А он невольным экспериментом доказал это. Значит, пришла пора думать не только об экологии Земли, Солнечной системы, но и всего Космоса. Вот, значит, чем озабочены вечные. Вселенная для них, как для нас Земля, ограничена, и они предпринимают меры, чтобы прогрессирующие миры не засосала холодная тряпина всеобщей энтропии. Разум! Не для того ли он сотворен, чтобы в конечном счете понять проблемы экологии Вселенной? Понять и отыскать пути к спасению?!

За окном, совсем близко, зеленел тополь, увешанный набухшими сережками. Некоторые уже пушились, готовясь выбросить на ветер семена. Из-за тополя, откуда-то снизу, доносился монотонный говор толпы, и Герман уже знал: люди ждут, нетерпеливо ждут, когда он оправится, выйдет к ним и будет рассказывать, рассказывать, сеять знания, обретенные вничего от человека не скрывающем, распахнутом настезь Космосе.

**ВЛАДИМИР РЫБИН** родился в г. Костроме в 1926 году. Окончил Московский университет, член Союза писателей СССР. Автор многих книг фантастики, приключений, путешествий — «Здравствуй, Галактика!», «Гипотеза о сотворении», «Взорванная тишина», «Путешествие в страну миражей» и других. Неоднократно печатался в «Искателе».

